

Константин Николаевич Леонтьев

# **Сутки в ауле Биюк-Дортэ**

# Константин Леонтьев

## Сутки в ауле Биюк-Дортэ[1]

До названия, впрочем, нам нет особенной нужды. Быть может, деревенька называлась как-нибудь иначе — Кучук-Кой, или Кипчак-Элли; нужно нам знать только, что стояла она у подножья большого голого холма, какие часто попадаются в волнообразных частях крымской степи, что домиков мазаных было в ней, я думаю, до сорока, если не больше, с черепичными и земляными, поросшими лебедой кровлями, что не было никакой сильной растительности кругом, кроме полудесятка широких ветл на берегу ручья, бежавшего по грязному оврагу, да огромных колючих волчцов с пушистыми розовыми головками, покрывавшими печальную окрестность аула на целые десятины. Не мешает знать также, что была бедная, небольшая, восьмиугольная мечеть с окнами, заваленными камнем, с запертою дверью; минарета у нее не было никакого, а была круглая груда из больших каменных плит, на которую аккуратно, в

известные часы, лазил мулла с седой расщепленной бородой, в бараньей шапке, увенчанной белым полотенцем; кругом мечети было, как и у нас около церквей, кладбище, только очень унылое... трава на нем мелкая, подстриженная какая-то, и по зелени ее рассыпаны были лежа, стоямя, вдоль и поперек, безобразные белые камни, пожелтелые от выросших на них лишаяев, так что издали было видно. Только избранник-хаджи (бывший в Мекке) украсил свой покрывившийся каменный столбик грубым подобием чалмы и непонятными для нас надписями — вот и все... да, почти все. Надо бы сказать что-нибудь о татарах, жителях аула; но к той поре, как пришлось проходить чрез него ополченцам, их почти всех повыгнали. Офицеры и другие власти заняли большую часть хат; в других помещались больные разных команд, составляя массой своей деревенское госпитальное отделение, о котором своим порядком писались отчеты и т. п. — так что, кроме атамана да еще трех-четырех татарских семейств, мусульман не было: видно, разъехались на волах и верблюдах по родственникам в другие

дальние деревни и увезли с собою марушек своих, детей, сундуки, своеобразную посуду, войлоки и даже те разноцветные длинные подушки, которые они любят класть у очага на полу и на которых они так долго и спокойно кейфовали с коротенькими чубучками в лениво разинутых ртах! Зато войско, войско сверкало везде!

Чего тут не было! И гарнизонный полубатальон, и артиллерийский парк, и госпитальное отделение с двумя докторами и смотрителем, и склады какие-то и при них провиантский офицер из греков. Гусары и казаки приезжали покупать сено. Какой-то делец перебрался сюда из дальнего города для продажи скупленных им стогов; у него была прекрасная карета, рояль в хате, два прикащика и пять породистых собак. Движение было везде видно с утра. Лекаря с разных концов спешили на помощь больным солдатам, размещенным в трех палатках и двух татарских домах. Солдаты, балагуря, толпились кучами, всякий с своими, около костров или печек, вырытых в боках холма; горнисты и барабанщики учились, трубя и барабаня с ранних часов, когда

еще вся деревушка была одета туманом... Ночи наступали свежие, хотя дело было еще в августе. Однажды, часов в девять вечера, вступили в Биюк-Дортэ густыми колоннами ополченцы. Люди других команд, кто был свободен, бежали смотреть. Скомандовав вольно своим взводам, офицеры составили кружок и беседовали, пока дружина шумно собиралась варить себе ужин.

— Эй, Никитка! — закричал один дородный поручик. — подай-ка балыку сюда, да сыру... ковер возьми с повозки, расстели вот тут... Да и водки не забудь.

— Ишь, — заметил другой, — водку на самый конец... А она у него первая на уме... Вот что значит нечистая совесть... Погоди — вот я жене сообщу по почте о твоём поведении: будет тебе в Ефремовке, как вернемся!

— Ах, полно, ради Христа, говорить про жену! — вздохнувши, сказал толстяк. — Тебе, конечно, смешно, а я о сю пору в себя не приду, на чьих руках она останется... Если, чего Боже упаси!.. Ведь здесь не Ефремовка!.. Знаешь, неприятель не за горами.

— Вот что правда, то правда: это не Ефре-

мовка ваша, Осип Григорьич! — воскликнул, пожимаясь от холода и усталости, худощавый и курносый юноша в черном бурнусе. То ли дело-то у вас бы: теперь самовар на столе... булки свежие, масло... жинка молодая... постель мягкая...

— Полно, полно! — перебил еще кто-то, — нельзя ли без поэзии! Он и то болен, а ты его дразнишь, право... Человек, разве не видишь, обременен семейством и преждевременной тучностью?

Все захохотали.

Постлали ковер поближе к костру, над которым висел котел, и офицеры расположились закусывать, когда к ним подошел еще один товарищ, закутанный в теплую шинель. Ему предложили закусить, но он отказался и, отошел от кучки так же равнодушно, как и подошел, отправился по берегу оврага, сам не зная зачем.

Кто ж был этот задумчивый ополченец? Спешу сказать, что он был молодой человек и человек честный; без этого ведь он не будет иметь права ни мечтать, ни грустить по родине. Вкус нынче стал недоверчив, и когда нам

представляется Рославлев, Леонид или другой задумчивый воитель, давнишний идеал, мы все, и даже самые независимые из нас, сейчас же спрашиваем себя: «Да; а каков он был с деньщиком своим, этот худощавый брюнет? не бил ли он по зубам его за то, что погончики и петлички были не в порядке, когда ему нужно было говорить графине речи, полные пламенной патриотической грусти? Хорошо ли кормил он свою роту?» и т. п. Муратова изобразить, признаюсь, нелегко... Сказать, что он был белокур, высок ростом и немного флегматичен, сказать, что он был добр и мыслил на досуге... Мало ли, кажется, таких людей! Нельзя ему было и не быть честным: имел он душ восемьсот и женился по любви. Деревня у него была отличная, на порядочной реке. По ту сторону стояла славная белая церковь (на иконостас ее отец-покойник положил немало забот и денег). Издали, среди сплошного леса, давно обращенного в парк, виднелся дикий бельведер старинного дома. Стекла длинных оранжерей сверкали и грелись на полуденном солнце, и под ними назревали персики, сливы и виноград, подни-

мались, вились и расцветали южные цветы. Если б мне нужно было выставить человека, полного коренных тревог, поднимающих всю душу со дна, или бедняка, жаждущего двух-трех часов светлого отдыха в день, я бы повел его в деревню Муратова и заставил бы с непривычной отрадой смотреть на мирную молодую чету, на ряды служб, в которых протекала не чуждая страстей дворовая жизнь под сенью умеренной снисходительности, заставил бы его пить чай на террасе, убитой щебнем, где, снизу доверху, вились по натянутым веревочкам *belles de nuits*. Муратов повел бы его смотреть на вновь насаженные им самим тополи, не превосходившие вышиною кустиков обыкновенной клубники, и непременно сказал бы, желая шуткой ободрить гостя: «А каковы мои тополи? Шапка валится!» — и, нагнувшись к ним, непременно бы сронил с головы фуражку.

Какой бы гордейший пролетарий не улыбнулся ему в эту минуту?

Но для Муратова это все было нипочем.

Новыми и новыми осложнениями богатет душа человека в разнообразной борьбе. А

для молодой четы Муратовых борьба существовала одна — хозяйственная, придававшая легкую, крепительную горечь мягкому и утучняющему пиву их вседневного быта.

Кончив курс в высшем учебном заведении, Муратов женился, уехал в деревню, решил отпустить бороду, надел красную канаусовую рубашку и поддевку, которая очень шла к его сановитой особе, и предался агрономии, заводил заводы... да винокуренный сторел, а на сахарном немец попался какого-то теоретического склада человек...

Прежде меня и прекрасно говорили другие о забавных иногда и иногда трогательных разочарованиях благонамеренных помещиков... Прошу с небольшими видоизменениями дополнить этот пропуск воображеньем.

Милая жена была благоразумна, как говорили знакомые. Еще нимало не успела поблекнуть ее наружность с тех пор, как впервые увидал ее Муратов, а уже из танцующей и светской девушки стала она рачительной помещицей и доброй домохозяйкой. Во всем старалась она вторить мужу, и хотя в нраве ее недоставало иногда чувства меры, хотя эта

охота вечно пересолить бросала некоторую тень на кроткое мерцание их очага, однако читатель, конечно, не захочет отнять сочувствия своего ни от нее, ни от мужа за то, что я чертой осязательного недостатка постараюсь по возможности кратко низвести личность ее с высоты эмблематической добродетели до простого оживления. Например, узнала она, что какой-то прежний писатель находил несомненным признаком d'un bon gentilhomme склонность ходить пешком, что только купец какой-нибудь, как поправился в делах, так и сел на пролетку. Узнав это (а ей еще и прежде советовал доктор, да она все не слушалась), стала она везде с мужем ходить пешком — и на молотьбу, и на жатву, и на завод. Он идет в славянском платье, она — в общепринятом, и с любовью опирается на его руку; он идет широкими шагами (быть может, отчасти с целью отбить у нее охоту), а она еще пуще за ним. Он читает Апостол по праздникам в церкви, и она не отстала: завела у себя общие молитвы по вечерам, на которые с ропотом спешили дворовые люди в назначенный час. К вечеру посещал его контор-

щик, а ее птичница. Он в кабинете толковал о чем нужно, а она, покуда, в пестрой угловой комнате, утопая в бархатном кресле, подозрительно и пристально глядя в лицо птичнице, спрашивала у нее неясным, утомленным голосом:

— А сколько у тебя яиц теперь, Аксинья?

Иной раз мужу и мешала она; но она была так наивна, темно-серые глаза ее были так велики и томны, так старалась она поддержать в муже память их первого сближенья, на ней все было так мило, от чепчика до вышитой рубашки, что слово укоризны облекалось, выходя из уст мужа, только теплотой полуотеческой любви.

Так как у них было довольно много разных должностных лиц в имении, то она и требовала, чтоб все эти лица не иначе являлись в дикий дом с бельведером, как во фраках. Муж было начал говорить:

— Душа моя, это лишнее... Стеснять...

Но она надулась и не говорила с ним до тех пор, пока он не объявил приказанья. Тогда поцаловала она его руку, и обрадованный муж с глазу на глаз (даже затворивши дверь,

чтоб не сконфузиться перед каким-нибудь нечаянно вошедшим слугою) представил ей, как индюшки разговаривают между собой. Начиналось так, слегка в нос:

Дождик идет, дождик идет! Пойдем в огород, пойдем в огород!

Потом являлся садовник и гнал их вон. Индюшки, прыгая, бежали и кричали в ужасе:

Федорыч! Федорыч!

Наконец являлся сам петух и, зашумев напряженными крыльями, восклицал: «Что вы здесь делаете?»

Мир был окончательно заключен, и должностные лица ходили во фраках до самого его отъезда на войну, хотя жену давно уже глодало раскаянье.

Однако, хотя Лиза и старалась соединить в себе столько анахронизмов, все-таки на нее не жаловались те, на которых сильнее всего могла отозваться ее напряженность, хотя она желала быть разом всем на свете: в поле и кладовой — Руфью Вооза, собирающей колосья, в доме и в саду — придворной западной дамой, а в ласках, расточаемых мужу, искала напомнить страстные берега Средиземного

моря, хотя, наконец, какой-нибудь недовольный и мог потрунить над ее изречениями: «Les enfans et les pauvres sont mes amis!» Но люди крепостные, для которых, конечно, все эти оттенки не существовали, любили ее. Она щедро дарила платки, кички и серьги бабам и девушкам на хороводах; первая подала мысль мужу об устройстве хорошей больницы, сама разносила больным сладкое и кислое питье, щипала корпию сама, если было нужно. Ни одна невеста не была насильно отдана замуж, ни один нищий не отходил от порога с пустой рукой; старухи слепые и искалеченные лежали на чистых постелях и кормились прекрасно в маленькой опрятной богадельне. Детей всех дворовых она знала по имени, и если, с одной стороны, эти дети слегка негодовали на нее за строгие экзамены в школе, то, с другой стороны, пряники и т. п. возвращали ей сердца их. Мы, у которых при взгляде на нее не возбуждалось ничего настоящего, у которых желудок не видел в ней утолителя, кожа — согревателя, слезы — утешителя, мы имели право справляться с законами прекрасного и сожалеть, что многое выходило

неловко и негармонично; но для тех-то, для близких, она была добрая барыня и любящая, хорошенькая жена!

Времени у Муратова все-таки много было свободного. Еще задолго до войны озлобился он на французов и англичан. Каждый листок газеты серьезно раздражал его. Он говорил, что французы и англичане отжили и сузились, что их надо освежить, окропить живой водою, и грозился при этих словах кулаком. Начались первые неудовольствия в Европе. Князь Меншиков поехал в Константинополь. Ненависть Муратова стала изменять характер отвлеченности на более живой. Своекорыстная Англия, мозаичная, непрочная Австрия не сходили у него с языка. Турция для него не существовала, конечно; а Наполеон, разумеется, потому только держался, что подданные его, исхитрившись, стали никуда не годны. Он стал поговаривать, пугая жену, о военной службе, напоминал, что чин его слишком уж невелик, а года идут... Могут родиться дети... На беду случилось так, что один гвардеец, его приятель, прослуживший несколько лет на Кавказе, заехал к нему и, за

стаканом чая, толкуя о южной природе, о восточных племенах, сообщил ему, между прочим, что у донцов есть поверье, будто когда китаец поднимается, тогда уж никто не устоит против него, что Гоги и Магоги Апокалипсиса именно и есть китайцы.

«Восток, — сказал он сам себе, — призван освежать; вспомним средневековые нашествия» и т. д.

Он долго ходил по большой зале, изредка поглядывая на благородное лицо какого-то деда, висевшего на стене, обремененного крестами и провожавшего его, казалось, ободряющим взором.

Потом пойдя он гулять один, в волнении, набреди на давно знакомый ему ключ в берегу речки. Ключ был всегда очень холодный, быстрый и не замерзал зимой; к тому же он окрашивал валявшиеся кругом кости в красноватый цвет и покрывал соседнюю глину блестящими металлическими осадками. Муратов часто навещал этот берег и все собирался свезти воду в Москву, для разложения, и после завести, если окажется в ней что-нибудь, заведение минеральных вод на широ-

кой ноге.

«Теперь не до того уже!»

«Вот, — подумал он, — не предзнаменование ли это также? Холодный, крепкий ключ; он не нагревается летом вровень с другой водой; он постоянен в своей силе, зато и не стынет он, и течение его не останавливается! Не таков ли Восток? Конечно, восток востоку рознь: есть южный восток и северный. Да что там, на юге? Одно самораствление неги...»

Это заняло его до того, что он ходить больше не мог, вернулся домой, развалился на широкий сафьянный диван и, закурив сигару, задумал ехать на войну.

Около этого времени узнал он, что Сент-Арно рискнул не шутя высадить на крымский берег свои духовно-гнилые войска. Казалось бы, куда им? Здесь могучий чорный хлеб, Волга, сосна, луга на тысячу верст — есть где и мышцам и духу окрепнуть, и нервам не избаловаться. А там что?

*Мне хочется сказать великому  
народу:  
Ты жалкий и пустой народ!*

Слух о тяжелой битве при Альме окончательно и искренно потряс его (читатель, конечно, убедился, что Муратов хороший человек). Тогда ни слезы милой Лизы, которая обнимала его и целовала его руки, умоляя остаться, ни прелесть чувственной привычки к губам ее, плечам, рукам, одежде — словом, ко всему, еще так недавно чуждому и полному обаяния недоступности (женаты они были всего полтора года!), ни агрономия, ни оранжереи, ни диван — ничто не могло удержать его.

И вот он ополченец!

Лиза сначала горько, много плакала, осиротевши в деревне, и до того тосковала, что даже стала ходить через день к жене управителя, и даже раз, заставши ее мужа за утренним кофе в шлафроке, упросила его остаться без церемонии при ней и прибавила:

— Я зашла на минуту звать Машу погулять со мной... Такая тоска. Пожалуйста, не стесняйтесь... Теперь времена такие тяжелые!

Потом, успокоившись немного, поехала она в Москву и говорила одной своей приятельнице, девушке, упрашивавшей меньшего

брата не ехать на эту войну:

— Ах, Додо! разве можно... Бери пример с меня... Я сама послала мужа. Ты знаешь меня? В хозяйстве я старалась всегда быть подпорой ему... Что ж делать! В этих случаях надо быть спартанкой!

Начинало уже сильно темнеть, и Муратов, глядя на массу черных хат, толпившихся перед ним, на огоньки, светившиеся там и сям в окнах, где постускнее, сквозь татарскую бумагу, а где ярко, чрез стекло, вставленное постояльцем, на далекий мрак пустынной степи и месяц, изредка выдиравшийся из облаков. Слыша смутный гул и говор военного народа, сильно встосковался Муратов по родине. Бродя в темноте по берегу оврага, он и не заметил, как с ним поравнялись два человека; только тогда и оглянулся, когда один из настигавших его закричал с особым выражением в голосе, передразнивая что-то вроде купеческих сидельцев:

— Эх-с! Дружина-ополчение! матушка Россия! Бородку-с поглаживают... Эка досада, ей-Богу — видно, до завтра отложить — не найду

вот никак человека... беда, да и только!

— Кого?

— Муратова. Спрашивал у офицеров, говорят: был да отошел сейчас... товарищ: важный малый... Я слышал, что он в наше ополчение поступил. Нашего уезда помещик молоденький... Муратов обернулся и подошел к незнакомцу, произносившему его имя; они пристально всмотрелись друг в друга.

— Я Муратов, — сказал ополченец, — а вы?

— Марков...

— Вот, — сказал Муратов, не скрывая радости, — это романическая встреча! Здравствуй, Марков!

— Это ты, голубчик?.. Здравствуй, радость моя, здравствуй...

Старые знакомцы с искренностью обнялись.

— Ну, что? Ну, как, брат? Я слышал, ты женился? Пойдем-ка лучше в хату нашу... тепло, отлично. Вот, рекомендую тебе моего хозяина: мсьё Житомирский... смотритель здешнего отделения... то есть госпитального. Это Муратов, голубчик! мой однокорытник по гимназии. Прошу любить и уважать его...

Муратов мог, при слабом свете месяца, разобрать только высокий рост Житомирского, густые бакенбарды и меховой воротник военного пальто. Они пожали друг другу руки и пошли на квартиру Маркова и Житомирского.

Муратов так обрадовался хате, что дорогой разговорился очень откровенно, против своего обыкновения; рассказал, как он мечтал о теплом жилье в этот вечер, как оставил дом свой, жену, как они много шли и устали и как он рад видеть Маркова. Они уж стали спускаться по узкой тропинке в ров, когда увидели в глубине его, в том самом месте, где бежал ручей, две черные тени, шагавшие по грязи.

— Стой! — закричала одна, шатаясь — чего ты, скотина, хватаешься?.. Ты думаешь, что я, как ты? Уж выпил, так и ног нет... Скотина!

— Помилуйте, ваше высокоблагородие! Ведь я вам пособить хотел... Грязно очень теперь-с, ваше высокоблагородие!

— Грязно! грязно! голос-то какой! Ах ты червоточина! Первая тень, говоря это, вдруг остановилась и прошептала:

— А в зубы хочешь?

— Помилуйте, ваше высокоблагородие! За что же в зубы... Обидеть человека не долго-с.

— Ну то-то! Молчи, скот! Веди меня... Марш вперед... Грязь какая, будь она неладна, шельмовская!.. Э-э! Гаврила... стой... стой, держи... вода! держи... где рука твоя, чорт...

— Здесь, здесь, ваше высокоблагородие!

Простая тень пошла дальше; высокоблагородная за ней, придерживаясь за полу жожа-того.

— Ведь это эскулап ваш налимонился так, — сказал Марков Житоміскому. — Где это он хватил? У полковника, верно, хлопнул. Во-во! смотри, ишь как его колышет в обе стороны...

— Кто это? — спросил Муратов.

— Доктор-старик... главный лекарь... Его прислали посмотреть за холерными... предупредить дальнейшее развитие болезни. Вот он и предупреждает.

— Да уж теперь нет никакой холеры, — заметил Житоміский, — это фальшивая тревога...

— Нет, — сказал Муратов, — у наших рат-

ников показалось что-то вроде холеры... Я слышал, что их здесь оставят в этом лазарете... Это скверно, что такой доктор нетрезвый.

— Ну, это он сегодня так, сердечный, оплошал, — возразил гусар, — а то он крепок на вино; да он только отпиской больше и занимается. А вот другой тут есть медик, молодецкий — вот уж доктор, так доктор: молодчище! маленький такой, да молодец; дело свое знает — и *bon vivant* такой бедовый, славный малый! Вот вчера у пана Житомирского была середка...

— Я думаю, середка вчера была у всех, — сострил Житомирский.

— Ну, ну, не острите! У них здесь, видишь, душа моя, вечера бывают: вот у него в среду, у Федорова — это молодой доктор — в четверг; завтра у провиантского Тан-галаки... вот тоже антик; когда хочешь — познакомишься!

— Да как я познакомлюсь? Ведь мы завтра выступаем.

— Нет, уж это шалишь! Пока я здесь, я тебя не пущу, а после подвезу тебя в своем тарантасе. Дня три-четыре погости здесь. ей-Богу, не будет скучно. Что там, у ваших!

— Да как же можно?

— Да так же. Вот завтра сведи меня к своему командиру: я уже берусь упростить его — что такое три дня?.. Ты ведь не ротный командир: без тебя одного обойдутся...

— Попробуй. Я согласен немного отдохнуть, но не более трех дней. Здесь, кажется, лежать на боку не место.

— Лежи на чем хочешь, хоть на животе... Я стою у г. Житомирского и надеюсь, что он позволит мне принять товарища на три денька.

— Странные вы вещи, mon cher, говорите! — воскликнул Житомирский, — я уступил вам боковую хату, и вы в ней полный хозяин. Разве вы меня не знаете до сих пор? Вы меня обижаете даже.

— Знаю, знаю, голубчик Ромуальд Петрович. Если б не боялся уронить вас в грязь, обнял бы вас.

Разговаривая так, добрались они до конца оврага и готовы были завернуть за одну одиноко стоявшую хату, в которой сквозь бумажное окно слабо светился огонь, как вдруг гусар остановился.

— А что, Ромуальд Петрович, слушаем

сегодня?

— Будьте осторожнее: увидит деньщик, как-нибудь выскочит... знаете, какие могут быть неприятности! Пойдемте лучше. Это бесчестно, если рассмотреть дело строго.

— Ах, не могу, голубчик! — детски содрогаясь от веселого любопытства, возразил гусар, — надо послушать... Нельзя, нельзя... Муратов, пойдём.

— Что такое?

— А вот услышишь что-нибудь, тогда узнаешь. Сказав это, гусар, согнувшись, подобрался к окошку и приложил ухо.

Скоро и два другие спутника, движимые любопытством — один потому, что знал в чем дело, а другой потому, что не знал — припали тоже около окна.

Сначала ничего не было слышно; теней тоже не было видно. Вероятно, свеча стояла ближе людей к окну.

Наконец послышался легкий вздох и потом слова:

— Слушай, Митя... — сказал нежный голос.

— Что, душка? — отозвался другой, немного погуще.

— Слушай: ты завтра лежи, а я тебе кофе сама сварю... пойду в сени и, вместе с Карповым, сварю тебе кофе.

— Нельзя лежать, Катя; завтра надо рано к полковнику...

— Рано-рано проснись и лежи, а я пойду в сени, надену на голову голубой платочек и пойду варить кофе. Карпов сказал мне, что этот платочек очень ко мне идет.

— Так ты и Карпова хочешь с ума свести? Да перестань масло руками брать... Разве нет ножа, Катя? Как тебе не стыдно!

— Ну, вот, тебе противно? Мне от тебя ничего не противно! Такой ты! такой! Хорошо!

— Катя! душка моя, Катя! Я только так... стыдно руками... Если хочешь, хоть ножку поставь в масло, я съем его!

Послышался звонкий и продолжительный поцалуй.

— Карпов! Поди, посмотри на дворе, темно или нет...

Слушавшие бросились со всех ног прочь, шагах в двадцати приостановились, посмотрели друг на друга в темноте и пошли дальше.

— Что это за идиллия? — не без досады спросил Муратов, — который не интересовался в эту минуту ничем, кроме удобного ночлега, и, конечно, одна учтивость воздержала его от громкого ропота на остановку.

— Это, видишь, — сказал гусар, — квартира одного подпоручика... Митя Деянов зовут его. Отличнейший мальый был, да вот запутался... влюблен. И представь, никто здесь не может решить, откуда она! Живет у него с неделю и выходит даже в поле с ним гулять... Хата на краю самом: так оно через деревню и идти нет нужды; всегда чорным вуалем покрыта... Деньщик-осел только хохочет, как спросишь, а сказать, кто она, не скажет... «не знаю» да и только!

— Уж и я, — заметил Житомирский, — пробовал один раз без него отворить дверь... В дверях есть такая дырочка, и в нее продета веревочка... верно, изнутри гвоздиком засунуто... Я палец совал, думал, что достану гвоздик — нет, никак не мог! Он сам, впрочем, такой юноша... Всего двадцать один год!

Муратову было по-прежнему все равно.  
Пришли на квартиру Житомирского.

Комната, принадлежавшая смотрителю, была низка, как и все татарские комнаты. Потолка не было, но трехугольный навес крыши был подложен (должно быть, для тепла) лубками. Большие поперечные перекладины и полочки, обходившие стены наверху, были оклеены полосами пестрой бумаги, подобной тем клочкам рассеребренных и раззолоченных обоев, которые лепит русский крестьянин около образов; войлоки по всему полу; железная кровать с хорошим вязаным одеялом и дорогой ковер в букетах на белой стене; складные стулья, бездна туалетных и других мелочей, обличавших человека с изящными привычками — все это сильно веселило взгляд вошедшего впервые в походное жилище смотрителя.

Теперь Муратов, при свете двух стеариновых свечей, очень хорошо мог разобрать его наружность.

Житомирский был чрезвычайно представителен, высок и строен, в широком сером пальто; с аристократической усталостью снимал и бросал он на стол перчатки с обработанной руки, с томным достоинством глядел

карими глазами, а прическа à l'anglaise, бархат каштановых бакенбард и сухой, горбатый нос, поднимавшийся среди овального лица, до такой степени были полны гармонии, что Муратову и представить его себе зрителем было трудно... Вот нынче какие стали!

Посмотрел он и на Маркова. Ну, этот не то: все такое же открытое, смеющееся, белокурое лицо, как было и у гимназиста в Москве; только усы висят длинные...

Посмотрели и хозяева на гостя.

Марков еще раз обнял Муратова с видом искренней приязни.

— Ну, душа! и у тебя баки выросли, — сказал он. — Повернись-ка... ишь, у вас серые кафтаны; это лучше черных... Право, к тебе идет... очень идет... Да ты пополнил... ей-Богу, возмужал чертовски. Вот что значит быть женатым-то! Ну, садись же, голубчик, скажи... как тебя это Господь умудрил... *Brune ou blonde?*

— *Blonde!*

— Ну, это напрасно! И ты *blond* и она тоже: проку не будет... Уж это ты мне поверь... ей-Богу... Да расскажи же, как это ты... и что тебя

дернуло это сюда?

Между тем и самовар зашипел. Согретый чаем, москвич ободрился и, отделавшись кой-как от настойчивых требований гусара передать ему картину своего семейного быта, спросил про войну.

— Да что, душа моя... Ничего нет толку. Странная война какая-то! Бьют, бьют, а толку нет. Через пень колоду переваливают — скука страшная, просто зеленая скука! как говаривал покойный отец мой. Пробовали они штурм, так отбили ловко. Приезжал сюда из Севастополя донец-офицер, так он говорит, с холма, что ли, какого, как на ладони все видел. Поле, говорит, красное было от их брюк!

— Донец, вероятно, любил риторическую иперболу, — с глубоким взглядом произнес Житомірский.

Гусар косвенно посмотрел на него.

— Ромуальд! Ромуальд Петрович, нехорошо! ей-ей, нехорошо!

— Что такое нехорошо?

— Ничего, ничего, голубчик. Я знаю, что вы хороший человек... только прошу вас, об этом молчите... молчите, прошу вас! Ну, так

видишь ли, — продолжал Марков, обращаясь снова к Муратову, — пошли они колоннами, а наши из бухты пароходы и выручили. Как хватят, так ряды и валятся! Отчесали ловко их. Ну и Хрулев тут вернул рабочих...

— Ну, слава Богу! — сказал Муратов. Житомирский молча улыбнулся и, позвав деньщика,

стал раздеваться.

Товарищи тоже отправились через сени спать на другую половину, уступленную хозяином Маркову на время его жительства в Биюк-Дортэ.

В ауле, казалось, все уже притихло, и, кроме крика слетевшихся сов, не было ничего слышно.

— Что это они, проклятые, разорались? — спросил У деньщика гусар, печально протягивая ему ноги с сапогами.

— Кувикуют, — отвечад деньщик.

— Знаю, что кувикают, да зачем это они, проклятые, Раскувикались? К покойнику, что ли?

— Никак нет; это значит девка беременная есть...

— Вот как! Да какая же это несчастная? Разве Деянова любовница — а? как ты думаешь, Иванов? Эх-эх! проклятая, когда ты похужеешь?

Сказав это, гусар зарылся в одеяло, и скоро они с Муратовым не слышали даже и сов.

На другой день, однако, все оживилось, благодаря ярко вставшему солнцу. Веселее звучали с зори горнисты и барабанщики; веселее разговаривая, шли солдаты варить свой ранний обед; степь стала дальше видна, и небо безоблачно. Самые хаты песочного цвета, низенькие ограды из камней, наваленных один на другой, облепленные кружками кизика; пустые дворы, на которых не было ничего, кроме голодной шершавой и злой собаки, да какого-нибудь изломанного колеса, вместо калитки, при входе... Все это желтоватое и сероватое безлесного аула, сливавшееся на расстоянии верст двух с общей желтизной еще с июля поблекшей степи... все это вблизи немного прояснилось и повеселело. Маркова уже не было, когда Муратов проснулся.

Хотя, по природе своей, Муратов был всегда расположен полежать и покурить, не то-

ропясь, в постели, сигару; но возбужденный мыслью, что он близок к театру таких действий, которые, со временем одевшись неясным величием прошедшего, будут соперничать с громаднейшими битвами древности... проникнутый этой мыслью с утра до ночи, он быстро вскочил и, за недостатком халата, оставленного при дружине, накинул шинель, вышел в сени и попросил умыться у деньщика. Его, по правде сказать, слегка озаботило неприятное представление чужого мыла и нечистого полотенца, но ничего — вперед, вперед!..

«Надобно начать утро дельно: сходить Филиппа посмотреть, жив ли он, несчастный? Проклятые эпидемии эти на войне в тысячу раз ужаснее самого страшного кровопролития... Там, по крайней мере, есть увлечение, блеск, возбуждающий гром, а тут не известным никому страдальцем сгнить на жесткой кровати...

Филипп был молодой ратник, принадлежавший Муратову. Помещик, не замечавший его прежде среди сотен своих крестьян, привязался к нему на походе, благодаря чувствам

собственности и общей судьбы. Филипп, к тому же, был славный мужичок, кроткий, разговорчивый, услужливый, и при каждой встрече с правдивым и ласковым барином на цветущем деревенском лице его разверзалась такая искренняя улыбка, что нельзя было его не жалеть. Один раз Муратов спросил его, не скучает ли он по своим, а Филипп, просто-душно засмеявшись и вздохнув, сказал:

— Ведь и ты, небойсь, Алексей Петрович, по барыне иной раз тоскуешь?

Два дня назад, Филипп что-то разнемогся, а вчера ему сделалось уже так дурно, что надо было счесть за особое счастье близость Биюк-Дортэ с госпитальным отделением.

Деньщик Житомирского принес мыло; но какое мыло! В пестрой коробочке, не хуже того, которым Лиза мыла свои безукоризненные руки. Полотенце также вполне выдержало критику.

— Однако этот Житомирский весьма порядочный человек! Порядочные привычки открывают доступ порядочным чувствам... Как Гоголь-то устарел!

Невольню сверкнувшая мысль, под влия-

нием чувства комфорта, стала переходить в более оправданную и смелую при разговоре за стаканом кофе, в отсутствии Маркова.

— Извините смелость мою, — сказал Житомирский, — мне бы хотелось знать, зачем вы вступили в ополчение?

— Я искал какой-нибудь полезной деятельности...

— Было время, когда и я искал ее, но... видите ли что: мы так связаны по рукам и по ногам здесь, что вы там, в Москве или Петербурге, и представить себе не можете! Все действия так парализованы... Единства ровно никакого... Нас беспрестанно бьют...

— Без этого нельзя... И Петра сначала били... Помните слова Пушкина:

*Так тяжкий млат,  
Дробя стекло, кует булат!..*

— Но, впрочем, это хорошо, что мы терпим уроны... Это научит нас знать, в чем дело...

— Я думаю, много вредят ходу злоупотребления разные? Вы должны это ближе знать.

— Еще бы! Это просто общее *sauve qui peut*, или *chacun pour soi et Dieu pour tous*...

— Это очень грустно!

— Привыкаешь. Видите ли, есть кое-какие выгоды... Например, если печку топят антрацитом, залить половину, когда уже тепло истопилось; или, если полагается десять полен на печь, взять одно... Почувствует ли это тот, кто должен греться в комнате, кому назначены дрова?..

Житомирский взглянул вопросительно на Муратова, но, встретив, вместо одобрения, одну задумчивость, встал и, подойдя к печке, достал с татарской полки, на которой прежде ничего, кроме глиняных и жестяных кувшинчиков, не стаивало, достал несколько французских томов в приличном переплете. Пересмотрев корешки, он положил на место «Lelia» и «Le Lys dans la Vallée», а одну небольшую книжку раскрыл перед собеседником.

— Это Théophile Lavallée. В этой части XVIII век. Вы, конечно, читали что-нибудь подобное, хоть бы «Жирондистов» Ламартина... Были ли они правы, или нет — не в том дело; но я говорю, что материальные средства давали, вероятно, большую возможность служить своим убеждениям... Здесь, в ауле, есть ста-

рый гарнизонный офицер Киценко. Он женат, имеет четырех детей; у жены его есть две сестры-девушки, вдобавок вовсе некрасивые... Разумеется, их пристроить надежд мало... а жалованья в месяц он имеет девять рублей серебром... или немного более... А жизнь? Считайте: здесь, в ауле, курица стоит 30 коп(еек) сер(ебром); неужели у него менее 30 коп(еек) сер(ебром) выйдет в день на такое семейство?..

Муратов молчал. Душа его сжалась от стыда; ему казалось, что за словами благообразного смотрителя слышался упрек: «Что, батюшка, приехал сюда осуждать? Хорошо тебе от десяти тысяч годового дохода!»

В эту минуту вошел Марков.

— Что, встал? Ну, здравствуй, голубчик. Дай-ка мне еще разик на тебя взглянуть при дневном свете. Ничего, ничего!.. Молодец ты, ей-Богу, в этой форме. Дорого бы я дал, чтоб ваших в схватке видеть. Ведь, небось, как пойдут топориками чесать!.. Только раззадорь, и *allons, courage* — все к чорту.

— Рекомендую вам пламенного патриота! — сказал Житомирский.

— Ну, ну! — воскликнул Марков, — доволь-  
но! Что ж? идем к твоему командиру, Мурат-  
тов?

— Пойдем... Только, я не знаю... зачем ты  
непреренно хочешь удержать меня...

— Дня на три, дня на три... Я сам доведу те-  
бя. И тарантаса своего не оставляй.

Сходили в лагерь, и Муратов отпросился,  
но тарантас оставил, думая: «посмотрю; если  
будет скучно, сейчас же в путь!»

Из лагеря направились они к тем хатам,  
куда были свезены заболевшие ратники, ми-  
новали землянки, из которых выглядывали  
усатые лица гарнизонных офицеров и солдат,  
спустились в ров, повертели за крайнюю ха-  
ту, скрывавшую под кровлей своей молодую  
чету, и не успели пройти еще и десяти шагов,  
как Марков воскликнул:

— А! вот наш Деянов с своей прелестной!..  
Эх, шельмовская девчонка, закрылась!

Высокий Деянов шел, потупив глаза в зем-  
лю; вероятно, спутница его, накинувшая  
быстро на лицо сверх черного вуаля пестрый  
фуляр, толкнула его. Он поспешно взглянул  
на встречных, слегка коснулся козырька и

тотчас же, повернувшись, спустился с Катей в ров, отделявший квартиру его от чистой степи. Как дети, с разбега, поднялись они на ту сторону, побежали по степи все под руку и влезли в закрытый татарский фургон, ждавший их у подножия небольшого кургана. Татарин ударил, и пара понеслась во весь опор. Муратов успел разглядеть только, что она стройна, что бурнус ее дикого цвета, а на голове синий

платочек — вероятно, тот самый, что нравился Карпову. Муратову что-то вздохнулось.

— Да, — сказал Марков, покачав головой в ответ на этот вздох, — пропадет, запутается малый!.. Молодая такая еще юноша! Ну да ничего; люби кататься, люби и саночки возить! Не всякому такая красotka даром достанется. Наш брат, отцветающий, три года будет стоять в одном месте, ничего не добьется!

— Зато, в твои года, больше успеха между женщинами образованного класса. Я думаю, ты тоже пожил — а?

— Прошли, прошли те времена... А здесь что!.. Вот, в начале лета, проходили тут керченские жители, спасались. Так я было одну

майоршу отставную пригласил на чашку чая, у Семи Колодцев; очень благоприятно все было... покинутый трактир... Что ж ты думаешь! Вынимает, шельма, табакерку... и сама чувствует, что скверность делает: «Это я, говорит, стала нюхать с тех пор, как затмение было, испугалась». Ну я, конечно... чорт знает, что такое!

Ратников скоро нашли. Их свезли в нарочно очищенные хаты, и так как кроватей в Бьюк-Дортэ не было, то положили пока одетых вповалку на тюфяки. Около них хлопотал хваленый накануне гусаром молодой врач. Роста он был очень небольшого, зато мясист лицом и пронырлив взглядом маленьких зеленоватых глаз. На деятельность его нельзя было не любоваться. Он аккуратно расспрашивал, щупал, стучал, выслушивал, что и где нужно было, у каждого, и все согнувшись, или на коленях, между тесно сложенными бородачами. Воздух в хате уже успел отяжелеть, а вздохи, стоны и словесные жалобы, которым иной русский крестьянин умеет придать такую раздирающую слезливость, слышны были со всех сторон.

— Ну, что? как тебе теперь? — спросил доктор у одного пожилого человека, сухого, сморщенного и с мочальной бородой до полугруди.

— Плохо!

— Дай руку.

Мочальная борода протянул красную, заскоружную руку, а сам закрыл поскорее глаза и весь съежился.

— Чего ж плохо? Тебе сегодня гораздо лучше. Да ты, брат, того и гляди, еще трех турок убьешь!

Врач увидал тогда посетителей.

— А! мсье Марков! здравствуйте.

— Да вот, товарищ мой, ополченский офицер, желает видеть своего крестьянина.

— Моего здесь нет. Это все незнакомые физиономии.

— Так, верно, в другой хате. Сходим туда.

— Послушай, ты! как тебя? Подскочил служитель.

— Скажи сейчас смотрителю, — продолжал врач, — чтоб халаты роздали скорее. Разве можно людей так долго в амуниции держать? Смотри же, через четверть часа я зай-

ду, чтоб в чистом белье и под одеялами были. Смотри! Ты меня знаешь? Я воображаю, како-во холерному больному лежать в платье и в старом белье. Ну, живо же! Пойдемте, господа.

— Так у них действительно холера? — спросил вполголоса Муратов.

— Нет, вроде спорадической, то есть не эпидемической. Это зависит от точки зрения. Другой, пожалуй, и не назовет это холерой. Быть может, простуда живота или космические условия иного климата. Было, однако, двое-трое трудных. Тех двух, Бог даст, поправим, а один вот...

Дело было в сенях и, сказав это, маленький доктор, улыбаясь, поднял полотно, закрывшее в углу что-то длинное. Офицеры увидели тогда бледный, свежестывший труп молодого ратника с закаченными глазами и полураскрытым ртом.

— Боже мой! да это мой Филипп!.. — воскликнул Муратов, поспешно наклоняясь. — Нет, слава Богу, не он. Мой такой же белокурый и безбородый.

— Знаю! Пойдемте в другую хату. Он у ме-

ня один только и опасен.

Филиппу, как самому трудному из больных, лежавших в другой хате, более просторной, подмостили поближе к свету доски на камни, вроде кровати, чтоб легче было на него действовать.

Красивый и щегольски одетый фельдшер стоял около него. Больной лежал навзничь, посинелый и закрыв глаза; однако Муратова узнал и на вопрос его чуть слышно прошептал:

— Плохо, батюшка, плохо, кормилец мой!

— Ничего, ничего, — сказал маленький доктор, — смотри же, Авдеев (это обращалось к щоголю), чтоб каждые полчаса капли — слышишь? Не отходи от этого больного; другие ничего. Требование и рецепт Афанасьев отнесет в аптеку. Надеюсь на тебя.

Доктор уверил Муратова, что реакция восстановится скоро, и пошел с гусаром в сени, а помещик попросил фельдшера постараться, обещая немедленную благодарность.

— Помилуйте-с! Это долг человеческий есть, — воскликнул красивый франт; но согнутая, в виде сосуда, кисть руки, скромно вы-

ставлявшаяся из-за складки шинели, не отказывалась от награды.

Муратов сунул ему целковый и поспешил выйти на чистый воздух.

Доктор был видимо утомлен работой; он потягивался, и на лице его была написана радость человека, кончившего трудную обязанность.

— Ну, — сказал он, — пойду домой заку-  
сить. Теперь, после работы, все будет сладко;  
к тому же и погода такая славная... как фран-  
цузы говорят, *un air piquant!* Ах, да! еще в ап-  
теку нужно. Зайдемте со мной, господа. Вот  
вы, прибывшие на войну, должны интересо-  
ваться всем.

Действительно, Муратов жадно любопыт-  
ствовал видеть все военное и охотно пошел в  
аптеку, с уважением глядя на маленького че-  
ловека, который так весело и умно мирился с  
своим печальным ремеслом.

Доктор, не умолкая, болтал и смеялся всю  
дорогу.

Пришли в аптеку, находившуюся в тре-  
тьей хате, и застали там главного лекаря, пе-  
ресматривавшего с писарем статистические

отчеты о состоянии лазарета. Он сидел спиной ко входу, и в ту самую минуту, когда молодые люди переступили за порог, закричал, не поворачивая головы:

— Голубков!

— Чего изволите-с, ваше высокоблагородие? — отозвалось ему из глубины хаты.

— Есть то... бишь, как его... Crematum... Посуды нет, что ли? В мензурку...

— Унца четыре?

— Эка! хватил, будь тебе неладно!.. Унца три с половиной, что ли — так...

Три унца с половиной Cremati simplicis налито и доктор хлопнул.

— Здравствуйте, Григорий Иваныч!

— А! мое почтение, господа! — сказал, сильно смутившись, главный лекарь и даже встал, обнаружив во всей полноте дородность свою и благообразие почтенно-скромного лица.

— Ну, что вы? — продолжал он. — Мое почтение... А! ну, что вы? Извините, коллега, я вас обеспокоил. Видите, у вас тут не означено в билетике, отчего это гарнизла старый помер... Помните: мордастый старик такой?

— У него были гидатиды в печени... Напишите: асепhaloeystes...

— Бона! Пиши его, Голубков, в линию тифозных, так дело-то глаже будет... А то еще асе-pha... куда! Написал, что ли? Катай! Еще двух-трех в число тифозных складывай... будь они неладны!

— Вы только за этим меня требовали? — спросил молодой врач.

— Нет-с, нет-с... Зачем (тут главный лекарь выразил на лице дружеский упрек), зачем вы это так много хинина даете? Пожалуйста, если можно, рвотных побольше... Ей-

Богу, невозможно! Они только пишут разрешения требовать, а поди-ка! того и гляди начет... Пожалуйста...

— Как вам угодно! — холодно отвечал подчиненный. Я старался только предупредить завалы и водянку...

Главный лекарь взял его за руку и нежно склонил голову набок:

— Напротив... он производит завалы... Во-о! до сих пор все брюхо займет... печень, ей-Богу, да!.. Вы бы им рвотных почаще. Русский человек, здоров.

— Как вам угодно...

— Извините, извините... Прощайте, коллеги! Вышли опять на улицу.

— Какова у нас статистика, видели, господа? Впрочем, слава Богу для науки, ей никто не верит. Он еще при вас мало высказался. А то просто все это делается приблизительно. Тифозная горячка — положим, семь умерших, дизентерия — три и т. д. Общую сумму, понимаете, так разбивают. До свидания, господа. За обедом у Житомирского увидимся.

Марков и Муратов опять остались вдвоем.

— Кажется, этот медик отличный человек? — заметил помещик.

— Я тебе говорил, отличный малый, и оператор какой лихой. Я ходил смотреть, как он ампутацию одному делал...

— Раненому?

— Нет, какие здесь раненые! Так, какая-то чертовщина на ноге завелась. Засучил рукава и начал... то есть минута — и отлетела нога пониже колена. Взяли да и швырнули в угол. А тот-то, старина, ходит вокруг да кричит... «Во-о-о... во-о-о!.. так, так, так, сюда, сюда, сюда!» Они там жилки какие-то перевязывают.

Так Федоров ему по-латини, а он и назвать эту жилку не умеет, а все: «вот она, вот она свищет»; это значит, кровь брызнула. Мне Федоров после сказывал, что он ни одной жилки назвать не умеет. Он, впрочем, добряк; всех, потруднее больных, Федорову отделил, а сам легоньких и выздоравливающих взял, да отчеты пишет. Федорову не здесь бы служить... Он, бедняжка, и то жалуется... какая ему тут польза? Только что смотрительский стол, да что-нибудь от подрядчика. Прежде он служил в \*\*\*ском госпитале, я с ним там и познакомился... так там больных была куча. Выгоды...

— А разве он берет?

— Еще бы! Что он, дурак что ли? Все берут, а он будет смотреть. Пойдем-ка обедать; у Житомирского отлично готовят обед. Да, вот он и поправился за войну. Прежде просто куска хлеба не было; жалость, ей-Богу, брала! Мать старуха, сестрица чудо хорошенькая... В бедности большой были; а теперь он их содержит. Видим, как живет: ковры, часы с брелоками, голландские рубашки... Молодчина! И игру серьезную ведет, меньше, как по пяти к(опеек) сер(ебром) и не сядет в преферанс. А

иногда и направо, налево... Раз проиграл в один вечер 400 руб(лей) сер(ебром) — тут же вынул; только жилы на лбу налились и глаза забегали. Молодец! Одно нехорошо только... напустил на себя дурь, ругает все свое... Севастополю пророчит гибель. Я, того и гляди, с ним за это повздорю.

— Он мне не нравится, — сказал Муратов, — я не обманулся в предчувствии. Удивляюсь, как это ты, который всегда мечтал еще с детства быть военным и гордился патриотизмом... Помнишь, как ты подойдешь, бывало, к карте и сейчас: «эх, матушка, Россия, как раскинулась!»

— Помню, помню... Эх, времена! А помнишь, голубчик, как Ястрембицкий за мной гонялся, когда я ему из риторики: «бледнеет галл, дрожит сармат»... Здоровая, шельма! колотил-таки меня... Не знаю, куда он делся. Я и теперь все тот же, голубчик...

— При твоём направлении я бы счел за обязанность осадить его на первом шагу... Ты, я вижу, в убеждениях шаток... Какой же ты русский?

— Я уже давно до него добираюсь!

К обеду явился деятельный доктор и оживил компанию.

— Поздравляю вас, — сказал он, обращаясь к Муратову, — ваш ополченец в улучшенном состоянии... Через два-три часа я надеюсь отвечать за него... Вот мы как, мсьё Житомфский! Что вы скажете? Возбудили реакцию, восстановили дыхание, кровообращение в волосной системе, возвысили температуру кожи, словом... — Тут он улыбаясь, махнул рукой.

Житомірский обнял его.

— Да вы известный докторище; что тут толковать! В вашем присутствии я и голову не побоялся бы потерять.

— Ой ли? — спросил плут.

Доктор придавал каждому обыкновенному слову своему какую-то двусмысленную глубину посредством хитрых и пристальных взглядов, улыбок, телодвижений и т. п.

Потом, обратясь снова к Муратову, он присовокупил с серьезным видом:

— Быть может, у него разовьется тифозный переход, но это ничего! Главный вопрос: прекратить альгидный период...

— Эх, доктор! мало вам всех ваших альгидных, там, в госпитальной вони... Здесь что-нибудь повеселее надо!.. — воскликнул Марков, снимая со стены гитару, и тотчас ударил по струнам.

— Эх, душечка ты моя! — сказал докторчик, взяв за подбородок Маркова, — что ж я тебе спою? Разве это...

*Ах! тетушка Сидоровна,  
Да высоко ноги закидывала! и т. д.*

Все захохотали, потому что Шедоров с мясистым и большим лицом своим на маленьком теле был действительно забавен.

Но он вдруг состроил сладкое лицо, принял изящную позу, которая, по правде сказать, к его маленькой, сутуловатой фигурке мало шла, и запел глухо:

*La donna immobile*

— Ну, нельзя ли от итальянского избавиться? — сказал Марков.

Доктор избавил от пения, но заговорил об опере, о Петербурге, об Излере. Видно было по всему, что он хотел блеснуть своей многосторонностью перед богатым ополченцем. Упо-

мянул Житомирский об отъезде Деянова с подругой, о разговоре, слышанном под окном, доктор сейчас же заметил вообще, что женщины есть очень чувственные, что его любила одна генеральша, которая даже укусила его в правое плечо, и предлагал показать рубец, если не поверят; потом, что его любила одна француженка, которая ему ужасно надоела тем, что целовала его ноги.

Сказали, что Деянов очень увлечен, что он почти никого не посещает и даже мало говорит. Доктор заметил вообще, покачивая головой, что нынче смешно так увлекаться, что нынче-де век положительный, практический, батюшка, скептический. Кто нынче увлекается?

Вдавался он в растянутые и вовсе не характеристические подробности и говорил без умолка битых часа три, пока смерклося. В рассказах своих он являлся попеременно то обольстителем женщин, то спасителем жизни и здоровья, то добрым, разбитным малым, там расстроивал неравный брак, в который хотел вступить добрый, но слабый идеалист-товарищ, там уничтожал одним появле-

нием своим льва, вздумавшего толковать в гостиную о физиологии; там вправлял вывих, там спасал жизнь богатому графу и бедняку-писарю, обремененному семейством, декламировал стихи, представлял в лицах — словом, сверкал со всех боков, как искусно обточенное стекло, подражая алмазу.

Муратову наконец он опротивел вовсе, а главное, надоел; да и два другие собеседника под конец стали сумрачны.

— Пора к Тангалаки, — заметил Житомирский, вынув часы.

— Идите, — сказал Федоров, — а я еще на минутку заверну посмотреть на своего больного... До свидания.

Марков уговорил Муратова не отказываться от предстоявшего вечера. — Я тебя представлю. Там будет куча народа сегодня.

Пошли.

— А каков наш докторчик? — спросил дорогой Марков.

— Много болтает и хвалится... А ума мало.

— Ума мало, — воскликнул Житомирский, — он чрезвычайно умен, находчив, приятен в обществе, деятелен, сло-

вом, я мало встречал подобных людей. Вы еще не успели понять его...

— Конечно, — присовокупил Марков, — он очень умен; одного только не люблю: подобострастен шельмовски! Уж он не даст маху, найдет лазейку... Что-то я не люблю таких людей. Генерал Желтухин приезжал осматривать \*\*\*ский госпиталь, когда я там лежал. Ну, кто пальто с него снимал? — Федоров; кто стул подал? — Федоров. Я такому человеку пальца в рот не положу. Я не мастер, признаюсь, узнавать людей, а это видно! Но для кружка — золото.

У провиантского офицера нашли уже порядочную компанию.

Хозяин был из греков и звался Аамбро Панаиотович Тангалаки. Хотя в поправке его дел с началом войны не было той трогательной стороны, которая заставляла всякого радоваться на Житомирского, имевшего престарелую мать и красавицу-сестру, но и он был ничего... Было верстах в пяти от Бюк-Дортэ имение одного немца Христиана Христиановича Крэгенауге, и четыре дочери его, Элие, Эсперанс, Китти и Шушу, находили Ламбро Тан-

галаки чрезвычайно любезным, милым и находчивым остряком.

И точно, он обладал удивительным свойством говорить самые смешные вещи, несколько не улыбаясь.

— Да, та chère, и не улыбнется даже!.. А мы просто умираем со смеха! Невозможно слушать его. Представь себе: у Шушу в церкви вчера снурок на корсете лопнул оттого, что она надувалась, чтоб от смеха удержаться...

Особенно мило умел он склонять и спрягать русские слова на французский лад.

Подсиживал ли кто в картах, медлил ли опуститься в воду на купанье, изобличал ли большую осторожность в верховой езде, он говорил сейчас:

— А, ву трусе боку!

И когда тот раздражался, он прибавлял:

— Ну, а если не трусе, так, может быть, дроже боку! Остроумие выкупало невзрачность его наружности; он был, к несчастью, мал ростом и до войны был зачичкан, худ и желчен, но теперь, слава Богу, поправился, подобрел, побелел и принужден был отдавать почти все свое платье портному для выпущен-

ния запаса. Черные, как угли, фальшиво бегающие глаза, сверкали на довольно белом лице; точно как у морской свинки. В нем текла истинная эллинская кровь, потому что он сам говорил, что когда есть у него тонкое белье, цветы, куренье для комнаты и женщина (особенно рослая и полная), ему ничего больше не нужно.

Жилище его в Бюк-Дортэ было просторно и чисто, потому что дом принадлежал атаману и состоял из нескольких комнат, туда и сюда отворявшихся в низкие и темные сени. В самой большой собирались по четверкам часто на преферанс.

Народу было уже много, когда явились Муратов, Марков и Житомирский: гарнизонный старик Киценко, худенький помещик из французов, Шаркютье, молодой чиновник с соляных озер, любимый всеми за простодушие и отвагу, и пр. Немного позже других явился многосторонний доктор.

Преферанс шел как преферанс; перебрасывались словами, дружески трунили, острили «трусю боку», «дрожю боку»; Марков даже раз в ответ сказал «глупе боку». Все играли, как во-

дится; только молодой чиновник говорил вместо «семь червей» «семь преферанс!»

Сыгравши две пульки, обратились к закуске, водке и вину; освежились и заговорили все разом. Естественно, сейчас же разговор зашел про войну.

— Я удивляюсь, — сказал молодой чиновник, крепко прижимая руку к сердцу и кокетничая глазами, — я удивляюсь... Я всегда говорю, что мне удивительны англичане... Ну, французы, это народ легкомысленный; они и начали эту войну; но англичане... Ведь им нельзя простить... Россия, по моему мнению, права...

Тангалаки взглянул на него отечески.

— Я вам говорил уже, — сказал он, — что такое Англия. Я называю ее глупым селезнем, который может действовать только на воде, а Россия — петух. Вообразите себе, что они дерутся... Конечно, петух не может достать селезня на воде; но всякий раз, как подплывет селезень к берегу, петух клюет в башку, и тот опять бежит...

— Да, сказывали, — перебил старик Киценко, — важно их отшпарили на штурме; как

хватят с парохода — и ряда нет... Вот, ей-Богу!..

— Это пустое! — возразил Тангалаки, — что такое значит бить их из пушек? Пускай на рукопашную пойдет, тогда русский себя покажет. Никогда они ничего против нас не могут!..

Шаркютье улыбнулся.

— Послушайте, — заметил он с нежным акцентом и, как бы робея, углубился подальше в большое кресло, — зачем такое пристрастие? Вам, конечно, может, неприятно будет слышать, что я, который француз по фамилии, говорю против вас. Но вы знаете мой патриотизм... Я люблю Россию... я хочу только справедливости... Иногда поединок даже случался... Один пленный француз в Симферополе рассказывал мне, что его брат родной, зуав, надел однажды костюм пластуна и пополз ночью к русским батареям и, увидев вдруг другую тень, остановился... Эта тень тоже ползла и остановилась... Это был казак, одетый зуавом. И тот и другой думали встретить товарища. Подползли друг к другу и не могли объясняться. Они боролись в темноте среди молча-

ния, и зуав обезоружил и привел в свой лагерь переодетого казака. Конечно, могло случиться и наоборот; но... неужели и этот пленный хвалился?

Тангалаки встал и, сделав грациозный жест рукой, скромно опустил глаза.

— Так, так! — сказал он. — Франц Адольфыч, я готов с вами согласиться, что этот зуав взял казака; но ведь это исключение... Не думайте, ради Бога, чтоб мы не верили вашему патриотизму; мы верим ему; но ведь это исключение, исключительный случай... Он не составляет общего правила; общего правила один исключительный случай не составляет... Я всегда беспристрастен и скажу, что француз-солдат выше нашего, как гражданин, как человек, но не как солдат... Он, может быть, ловчее нашего... я даже допущу, что он ударит два раза штыком, а наш русачок всего один раз, но зато как!..

— Ну, — перебил Житомирский холодно, наливая себе полстакана хересу, — это тоже вопрос. Я говорил с одним дезертёром-французом — молодчик был такой... славный солдат — так он прямо говорит, что русские не

умеют колоть, слишком, этак, выставляют вперед ружье прежде нанесения удара... А надо сзади... вот так, а надо вот так!.. Удивительный был малый! Марков, вы его помните?

— Э! — сказал Марков, — пустомеля! Одно слово: дезертёр... Этого довольно.

— Нет, согласитесь...

— Не соглашусь! — воскликнул Марков, успевший, пока другие спорили, сильно разогреться у столика с закуской, — вы, Ромуальд, лучше молчите; я с вами поссорюсь... Вы тогда, извините, непристойны были... Все-таки он солдат, хотя и мог быть ловок, как француз... и, вдобавок, дезертёр, изменник. А вы с ним пили брудершафт в палатке!. Стыдно!..

— Ну, что ж такое? И другие офицеры делали то же... не я один...

— Что ж такое? А зачем вы покраснели? Вот то-то и есть. И другие офицеры были глупы... Что ж такое? Нет, батюшка, мне ваши слова, как нож в сердце — да-с! Я русский в душе. Вот свел бы я вас с ротмистром Бардамовым... он вам показал бы! Вот удалецкая голова! Как врезался в ряды английских драгун... Ведь это что за войско было! гиганты, а

не войско! Красавцы... Он: «вперед, ребята, вперед!..» А тут из задних рядов какой-то выходец по-русски, как нельзя чище: «Сюда, сюда, скотина русская, — сюда!.. Я тебе размозжу дурацкую голову... Скорей!..» — «Сейчас!» — кричит, да как махнул по сторонам, пробился до него... Раз его по груди — не берет; другой раз по ляжке — рассек... тот его ранил в руку, а он разозлился, да как хватит его в лицо — до ушей рассек!.. Вот бы я его на вас напустил... Ведь вы, душа моя, все-таки штафирка, чинищев — больше ничего; вы в военном деле не судья.

— Ну, — отвечал Житомирский с сдержанным гневом, — а все-таки урон будет на нашей стороне, как вы ни кипите тут за стаканом пунша!

— Позвольте, позвольте! — вмешался Тангалаки, — я оскорблять нашу общую отчизну у себя в доме не позволю... Мы живем щедротами...

— Э,э, господа! полно, полно вздорить из пустого! — перебил старик Киценко, — эх-эх-эх! Ну, какое нам дело о политике говорить? Сидите да ждите! Вот и до нас дойдет очередь,

тогда и храбрость будет видна. Пока, благодаря Творцу-Создателю, не трогают нас... Мы ведь, господа, тоже служили... Еще как — солдатами начинали. Горя тоже не оберемся, бывало. А вам что? Да в наше время и не говорили много так офицеры-то... Сказал отец-командир: «марш, Киценко, растакой-ты!» — «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» Ей-Богу, право. Стойте-ка; я вам лучше спою песенку:

Ты моя душка, моя красотка .. На чем играешь — не понимаешь! Ах, я играю на кларнете,

Трю, трю, трю-рю-рю. Ты моя душка, моя красотка, На чем играешь — не понимаешь, Ах, играю я на флейте!

Фю-фю-фю.

Все, однако, были недовольны вмешательством старика и не дали ему кончить.

— Нет, позвольте, позвольте, позвольте! — снова затарантил Тангалаки, опуская глаза и отскакивая шаг назад, — позвольте, господа! Россия должна быть священна для каждого из нас... щедроты, которыми...

— Но, послушайте... — перебил Шаркютье.

Тангалаки отклонился от него с досадой.

— Я прошу немного, прошу выслушать меня... Россия должна быть для всех нас священна... Все русское... мы русские...

Марков схватил полный стакан лафита и, подняв его, громко воскликнул:

— За здоровье матушки нашей, святой Руси! Да здравствует она, голубушка, на многие и многие лета на погибель врагам! Трррах! Пей, душа-Муратов, пей...

— Брудершафт! — подхватил маленький доктор, выскакивая вперед с своим стаканом.

Киценко взял его под руку, а Тангалаки отошел в сторону с досадой и холодностью в очах.

— Никак не дадут кончить! Все крикнули «ура!»

— Я убежден, — возобновил Тангалаки, — что каждый из нас умеет ценить щедроты правительства... Я, например, всем обязан службе моей, моему правительству, моему монарху... Положительно скажу: обязан всем и не позволю никому оскорблять отечество — да!

При этом взгляд его обратился к

Житомирскому. Житомирский встал.

— Стойте! — воскликнул Марков, — стойте! Я русский; слышите, господин Житомирский? я русский... И тоже не позволю никому... Вы видите эту саблю?

И он выхватил из ножен стоявшую в углу новенькую тульскую саблю, на лезвее которой было написано церковными буквами: «На, Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки!»

И, выхватив, махнул с остервенением в обе стороны.

— Полноте! — с презрением сказал Житомирский, — вы первый струсите в деле...

— Что? подлец!

— Господа, господа! что это? Помилуйте! Как вам не совестно!... Марков! Ну вот! Эхма! — загремело со всех сторон.

Житомирский побледнел.

— Хорошо, — сказал он глухо, — вы можете меня оскорблять: вы при оружии...

Марков бросил саблю на землю.

— Оскорбите меня теперь: я без оружия.

Житомирский отвернулся, молча взял фуражку и, несмотря на удерживавшие его ру-

ки, бросился к дверям, не рассчитал высоты, сильно ударился лбом о притолку, застонал и присел.

— Вот что значит отступление без перестрелки! — послал ему вслед с хохотом Марков.

Житомирский ушел. Дверь захлопнулась за ним, и все вдруг зашпорили и зашумели страшно. Тангалаки доказывал, что Марков прав, хотя увлекся; Шаркютье, напротив, заметил Муратову: что «*du chose des opinions jaillit la vérité!*»

Киценко ужасно соболезнавал и говорил:

— Эх, за что? Он важный парень, Ромуальд Петрович!

Чиновник с соляных озер расправил мышцы правой руки и заметил, что не всякий спустит, что, если б сказали ему так — так он всех бы по одному повыкидал вон. Молодой чиновник был радостно взволнован (виднo, любил игру страстей настолько же, насколько политику), а докторчик, которого совсем не было и видно за спиной соляного чиновника, вдруг выскочил и объявил, что он молчит, потому что всякий врач космополит!

Марков был пьян; он сидел, покачиваясь, на стуле и, улыбаясь, курил. Все стали убеждать его помириться. Он молчал и курил.

Мало-помалу все разбрелись по домам; к Житомирскому возвращаться было нельзя, и потому послали за постелями, решившись ночевать у любезного Тангалаки. Марков дремал, а Муратов, лежа на постели и закрыв глаза, с стесненным сердцем внимал крику сов и увещаниям хозяина, обращенным к пересолившему гусару.

Тангалаки шептал: «надо помириться с ним...»

— Он скоро передастся... Я уверен...

— Хорошо. Но в моем доме! Я разделяю вполне вашу горячность...

— Наворовал сколько!...

— Кто себе враг, кто себе враг? добрейший мой, мсьё Марков!.. Смотри с какой точки... Надо быть только благородным в этих делах. Совесть моя, и т. д. Нет, вам надо помириться...

— Хорошо, хорошо! спать пора! И Марков лег.

На следующее утро рано покинул Муратов

гостеприимный аул. Марков, провожая его, был очень печален...

— Ты помиришься? — спросил Муратов...

— Чорт с ним! Ведь я его обругал... Уж извиняться, конечно, не буду... а так объяснимся.

— Конечно, если так... А согласишься, все это скверно? Марков взял его за руку.

— Ах, голубчик! — сказал он с жаром, — скверно, скверно... особенно, когда там льется наша кровь!... Увидишь, я скоро перейду в пехоту, и ты будешь читать в реляции: «храбрый ротмистр Марков шел впереди всех! Батарея была взята, но он был убит навывлет в грудь пулей!» Я буду носить солдатскую шинель нараспашку поверх венгерки и в дело буду брать всегда ружье с штыком... Прощай, голубчик, будь здоров!..

Скоро отъехал Муратов версты с две, и хаты аула стали уже сливаться с подножием обнаженной горы.

Муратов с глубокой тоской и досадой на себя за то, что покинул тишину домашней жизни, скакал вперед... Перед ним впервые даже явился страх... Он боялся погибнуть ни за что,

ни про что, где-нибудь в глуши, как погиб тот оцепенелый молодой крестьянин, которого труп показывал ему в сенях лазарета блестящий молодой практик.

Волнистая степь лежала кругом; наверху свод неба; а впереди без конца вилась черноватая дорога

Тошно стало ему думать, что сила, которая взывала в нем во все время долгого похода, начинала меркнуть, как болезненный и вовсе ни на что порядочное не потребный идеал! Где тот холодный и крепкий ключ? Уж не нас ли надо кропить живой водой?

Насколько был он прав и не подействовала ли на него через меру чуждая привычкам картина печального аула — увидим при дальнейших встречах, и потому лучше бы не заключать ничего из сказанного...

*15 января 1858*

# Примечания

Впервые: Отечественные записки. 1858. Кн. 7. С. 221-252. Здесь публикуется по: К.Н. Леонтьев. Полное собрание сочинений и писем. Т.1. СПб., 2000. С. 228-264

[^^^]